
Александр ПЯТКОВ

ИЗ ПЫШМИНСКИХ РАССКАЗОВ

ЗА ТОРФЯНЫМИ БОЛОТАМИ

К нам иногда приходил пьяница Вася. Лет ему было под пятьдесят. Звали его те, кто побойче, «Васька-пьяный», а остальные просто «Васька». На улице он появлялся нечасто. Нашабашит где-нибудь денег и пропадет недели на две. Еще неделю приходил в себя, а в конце месяца появлялся у нас.

— Сережа. Серега, — стучал он в окно.

— Здорово, Василий! — кричал отец через весь дом и выходил к нему. До вечера они сидели под окнами и о чем-то разговаривали.

На прощание Вася неизменно говорил отцу: «Ну, значит, завтра засветло пойдем», а мне вручал какую-нибудь милую безделушку. Все они куда-то пропадали.

Мы встали ни свет ни заря, но мне такие ранние подъемы были привычны: часто мы ходили по утрам с отцом на рыбалку, где я клевал носом.

Вася уже сидел на скамейке у дома и дремал.

— Вставай, Василий, пойдем, — будил его отец.

Километра три мы шли лесом, а потом выходили на узкоколейку, которая тянулась по насыпи. Слева и справа лежали болота, полные теперь никому не нужным богатством. Летом они часто горели, но всегда как-то удачно. Подымят несколько дней и успокоятся. На полпути я уставал, и отец сажал меня на плечи. Мир сразу разрастался. Я смотрел на маленького, шуплого Васю — неутомимого, поправшего смысл жизни, но продолжающего жить. И так мне жалко становилось смотреть на него, когда он улыбался своими впальми щеками и кривоzubым черным ртом. И так хотелось его пожалеть, одарить конфетой, семечками, хлебом. Но карманы мои были пусты.

Жалость эта мешалась с красотой природы. А красивого только и было что расцвет. Сколько я помню их! Небо разливалось в краске, стояло над скудной природой и, вспыхнув, резко светлело. Становилось еще жальче Васю. А чтобы пожалеть отца... об этом я не думал.

Болота заканчивались. Лесом мы выходили к маленькому, с двумя окнами, дому. Там жила бабка Аврора — одна. Раньше там была деревня, но потом жители разобрали дома и в несколько заходов съехали, оставив после себя кусты крапивы, почерневший, давно не чищенный колодец и старуху. Где-то у нее был сын.

Отец поручал меня Авроре, и они с Васей уходили — куда-то еще дальше. Я стеснялся спросить у отца, куда они ходят. А может, просто принимал как должное эти наши прогулки и поэтому ни о чем не спрашивал.

Александр Сергеевич Пятков родился в 1993 году в г. Березовский Свердловской области. Живет и работает там же. Публиковался в журнале «Урал».

В доме, ожидая отца, я жил по два-три дня. Днем ходил вокруг да около, ломая ветки на деревьях или гулял вдоль дороги, оставленной лесовозами. А по вечерам сидел на диване и слушал Аврору, грызя бесчисленные сухари и запивая их молоком. Его я даже умудрялся не проливать.

— Уехал, оставил меня одну, — часто жаловалась она.

Кто уехал? — думал я. И лишь потом понимал кто.

— Не пишет матери-то.

Кто не пишет матери? И только потом уже понял кто. Впрочем, к чести сына, раз в месяц, а то и два он приезжал. Привозил кучу съедобного и укатывал обратно.

— Даже чая не выпьет, — говорила Аврора.

Когда первый приступ вечерней слезливости проходил, Аврора рассказывала мне о своей жизни.

— В Приморье мы жили. Огород, скотину держали. А потом, когда все это началось — уехали. За бесценок дом продали. Бывает, Федор мой деньги получит и бежит на почту, на книжку положить. «Там не прогорит», — говорил мне. А когда все это началось, менять стали, подумай только, сколько нам дали! Да и Федор мой умер тогда уже. Генка-то пришел и говорит: «Не хочу, мамка, в деревне жить».

Кроме меня, ей и поговорить было не с кем, поэтому она и выкладывала мне все, что наболело в сердце. Я сидел и слушал ее, а сказанное принимал как есть. И оно совсем легко проходило сквозь меня, оставляя легкие заметы. Но в силу возраста, а может, природы своей я как-то и не думал о чем-то большем, чем просто о словах.

— Поезд у нас останавливался. Каждое утро ездила на завод. Консервы мы делали — разные! В праздник целую авоську начальники нагружали. Каждое утро ходила к матери, Генку оставляла. А с последним паровозом выйду — и к ней. Забираю, несу на руках, а он спит, не шелохнется. И несу домой. А он вот мать забыл. Работа у него такая. Не может он, в разъездах все время. А ты знаешь, какая невестка противная. Такая противная!

Аврора отводила сердце на сыне и рассказывала мне про невестку...

Я просыпался, а кастрюля вареной картошки уже дымилась на столе. И всякой-всякой еды было. Я сидел и не мог есть, так сладко было вдыхать эти непривычные запахи. Особенно я любил пироги с картошкой — темные, с подгоревшей корочкой. И как странно сознавать, что таких пирогов больше не будет.

Каким-нибудь вечером возвращались отец с Васей, усталые и грязные. Я набивал карманы шаньгами и сладкими пирожками и, пока Аврора не видела, отдавал Васе. Бабка его не любила и часто выговаривала отцу:

— Связался с бродягой ты, Сергей! Бог-то накажет.

Отец только махал рукой в ответ.

Домой мы шли медленно, отец не сажал меня на плечи — просто брал за руку. И в этот момент мне казалось, что я сильнее, чем он, и какое-то смутное предчувствие жалости к нему, не жалеющему себя ради меня, проступало во мне. И я сжимал его уставшую руку.

По дороге я срывал землянику, а осенью срезал отцовским ножом грибы и клал в карманы. Грибы оказывались поганками. И отец с Васей звонко и добро смеялись. Я и сам смеялся вместе с ними

— Шаланды, полные кефали. Карманы, полные поганок. Молодец, Карацупа, — Вася хлопал меня по плечу и прощался с отцом до следующего раза.

Так мы и ходили втроем — выходили на восход и уходили на закат. Все как у людей.

Несколько лет это длилось. Вася пил, отец обращался к нему «Василий», а я собирал поганки. Аврора за это время успела зарезать сначала кур, потом козу. А потом

и корову. Двигаться ей становилось все тяжелее, она все больше полнела и все чаще лежала за перегородкой и молчала.

Однажды добродушная Аврора, видимо, по простоте души поразила меня своим рассказом.

— В газете я тут вычитала, что девка ребенка в погреб зарыла. А ее судить хотят. Мертвого зарыла, ладно бы живого. У нас в деревне скольких так похоронили, и не считали.

Рассказ меня ошарашил, и я перестал ходить с отцом за болота, тем более что скоро торф стал окончательно никому не нужен.

Я уже заканчивал школу, когда умер Вася. Шел, шел по дороге, упал и уже не встал. Его похоронили те, кто еще не умер, и сами разошлись помирать. И я вспомнил Аврору: как давно у нее не был, как испугался простоты, с которой она рассказывала о непонятном и страшном. И стал упрашивать отца сходить к Авроре со мной.

— Да на что тебе сдалась она? Померла, может, давно.

— Давай проверим, — ляпнул я.

Отец замялся и ответил:

— Вон Василия бери в товарищи и проверяй!

К Авроре мы все-таки сходили. Она нам очень обрадовалась, но эта радость казалась какой-то глухой и ненужной. Стала она совсем плоха: лежала целыми днями на кровати и смотрела в немытое окно.

Когда-то после приехал за ней сын и увез к себе.

— Помирать поехала, жаль, не успела, — сказала она на прощание.

И с тех пор я о ней ничего не слышал. Дом даже не закрыли и почти ничего не взяли — так оставили. Второй раз бросала она свой дом. Третьего, наверно, уже не будет. Хотя это как сказать.

Осенью, бывает, дохнет на меня чем-то старозаветным, каким-то легким теплом былой жизни — настоящей, всей в горестях и заботах, но почему-то сладкой. И я жалею, что не родился раньше, тоскую по прошлому, о котором не знаю. Тогда я ухожу на восток.

А когда шагаю на запад, вспоминаю историю, но не ту, страшную, а другую, совсем другую...

— Маленькие мы все были. И война была. А я ведь с одиннадцати лет работаю. Ты только подумай, представь себе! А было мне тогда четырнадцать. И война была. Все на фронте у нас мужики. А мы вот здесь на заводе, где консервы потом стали делать, мины делаем против танков. Идем мы на проходной, а солдатик там стоит в сапогах. А у меня сапог не было. Не только сапог — никакой обуви не было. А все хоть в чем-то да были. А я босая. И он увидел. И засмеялся. И как засмеялся! А мне стыдно, а он смеется. И как смеется! Ты и представить не можешь.

ЧЕРТ

Как он появился в поселке, никто не помнил. Приехал, соорудил какую-то халупу на отшибе и нанялся в пастухи. Пастухом Мишка был неважным, но, на его счастье, скотина господскими повадками не отличалась. Да и много он не просил — что давали, то и брал.

Как только снег спадал с полей и вымахивала первая весенняя трава, Мишка шагал с коровами в сторону выгона. Сначала с тремя, четырьмя... К концу апреля он уже

представлял собой полноценного пастуха, а к середине лета его лицо чернело и волосы выгорали: головных уборов он не признавал, да и одежду, по правде сказать, не особо честил. Летними вечерами, когда коровы возвращались с пастбища, можно было слышать по всему поселку одно и то же:

— Фу ты, черт какой, в рамках своих ходит!

Но одежды своей, рваной рубахи и штанов, заплат на заплате, пастух не стеснялся — ходил шесть дней в неделю в своем рванье, чтобы в седьмой преобразиться, «как Бог пожелал». По воскресеньям он надевал свой единственный костюм старого покроя, брал в руки гитару и расхаживал с ней по поселку часа два, даром что босой. Что-то наигрывал, пел, отпускал шутки налево-направо. Казалось, Мишка сошел в жизнь из какой-то неведомой старины — до того он был невнятен со своей гитарой и пиджаком на пустеющих деревенских улицах. Но над ним не смеялись.

— Родиться бы ему раньше, — говорил батюшка.

— На что? — спрашивала попадьа.

— Не в свое время попал...

— Он бы и там что-нибудь выдумал!

А Мишка все наворачивал и наворачивал круги по улицам. И все один. Находясь, пастух приходил домой, снимал костюм и ложился спать. А назавтра, вырядившись как обычно, снова слышал:

— Фу ты, черт какой нерусский!

Но он не обижался, хоть и текла в нем, с его слов, цыганская кровь.

Единственным, кто не чертыхался, был батюшка.

— Ему не полагается, — шутили, — да и молодой он.

Отцу Евгению было лет сорок, но он уже потерял надежду стать кем-то больше, чем просто сельским священником.

Приходя в гости к Мишке, батюшка восклицал:

— Как живем! Как живем!

— Как все живем! — отвечал пастух. И сквозила в его словах какая-то горькая ирония.

Походив из угла в угол и ни разу не споткнувшись о кровать, которая зачем-то была вынесена в центр комнаты, батюшка переходил к жалобам на свою горемычную жизнь. А Мишка слушал да подливал в стакан. И так успешно, что часам к одиннадцати отец Евгений выходил от цыгана, шатаясь на всю ширину улицы.

Один раз пастух попробовал проводить своего друга домой. Но попадьа, дородная баба, хоронившая детей каждый год, разрешилась в адрес Мишки ярчайшей прозой, подкрепив самобытной поэзией. Мишка был рад, что за «Христово дело» поплатился только новыми заплатами на одежде. В жизни его они играли особую роль, поэтому он и не расстроился. Одной больше, одной меньше. Да какая разница?

Следующим днем после дружеской встречи на утренней службе отец Евгений читал, проглатывая слова, и часто кашлял. Справив свои обязанности, он спешил домой. А дня через три снова появлялся у Мишки.

Так и текла жизнь пастуха, еле сводя концы с концами. Что-то ел, пил. А чем жил зимой, Бог знает. Но всегда улыбался — зубы у него были белее белого.

— А я содой полощу, — отшучивался Мишка, когда его спрашивали про зубы.

— Да, цыганская выдумка уж не та, — глубокомысленно заявлял кто-нибудь.

— А что с него взять! Черт — он и есть черт!

Заняться ему зимой было нечем, и он валялся на кровати, которую перетаскивал под окно, наигрывая что-нибудь на гитаре.

Батюшка зимой прекращал на время свои хождения за три моря. Зимой у отца Евгения обязательно заболел кто-нибудь из детей и, не дождавшись весны, отдавал Богу душу. В поселке ходило много разных слухов, почему так происходит. Но все жалели батюшку. Качали головами и повторяли:

— Ишь ведь как оно...

И, поговорив еще немного, заканчивали вполне жизнеутверждающе:

— Ну, ничего, молодой, народит еще.

И дети действительно рождались...

Три зимы Мишка кое-как пролежал на кровати, а на четвертую собрал поселковых ребят и взялся учить играть на гитаре. Так я с ним и познакомился.

Через два-три месяца все ученики, кроме меня, разбежались. К чести Мишки, денег он не брал — его, видимо, совсем доканывало одиночество, и чтобы как-то протянуть до весны, он и взялся за это сложное дело.

Учиться оказалось не так просто, как мне представлялось. Подушечки на пальцах потрескались, мозоли несколько раз лопались — часто я занимался не от головы. И время от времени отчаивался. Но вспомнив, как залихватски отхватывал Мишка то чардаш, то «Две гитары», то еще какой-нибудь из бесчисленных цыганских танцев, я вновь обретал потерянное усердие.

Весной к Мишке опять стал захаживать священник, и после занятий мы сидели втроем: Мишка пел, батюшка пил, а я смотрел на них.

Чего они только не придумывали! Даже как-то взялись распевать церковные песнопения. И из Мишкиного дома несся во всю улицу звучный голос пьяного священника.

Со временем обязанность провожать батюшку до дома перешла от темной улицы ко мне.

— Здравствуйте, я вот батюшку привел, — говорил я дрожащим голосом попадье и, осмелев, добавлял: — Он, пьяненький. Немножко.

Попадья брала в охапку священника и тащила домой, в то время как он пытался осеменить меня крестом.

— По той же дороге пойдешь... Пошел домой! Чего стоишь! — кричала попадьа, не забывая благословить меня на счастливую жизнь каким-нибудь интересным словом.

Наконец пришла весна, а за ней и лето наступило. Мишка мигом сделался пастухом и снова почернел.

— Фу ты, черт какой! — восклицали жители.

Однажды Мишка возвращался с коровами и услышал про себя другие, необычные слова:

— Смотри, Мишка-то одумался. Во какой сразу стал!

И действительно: Пастух заменил свои худые штаны и рубаху. И сапоги где-то еще выгадал.

На следующий день история повторилась. А через неделю все привыкли и только говорили:

— Фу ты, черт какой. Вырядился, как на свадьбу!

А Мишка и в самом деле задумал жениться. Как он собрался вести свою жизнь, никто не знал. Но это никого не волновало. Ведь никто же не задумывался, как он появился в поселке, и Мишка — в первую очередь.

Своей избранницей он сделал Катерину — молодую, полную во всех отношениях девушку с вечно красным носом и красными щеками.

Катерина работала в магазине и была единственной сменщицей другой продавщицы — какой-то тети Тани, а может, и Гали, которая слыла, с ее собственных слов, за «истинную христианку».

Но чаще я слышал о ней другое:

— Карга старая. Тьфу!

Или:

— Как ее... эта... мегера! Во!

И стал Мишка захаживать в магазин: то за спичками, то за чаем, то опять за спичками. Даже курить пробовал, но плюнул на это дело. Лучше уж пить! Он и без сигарет важный парень. Правда, пачка «Балканской звезды» всегда лежала у него на столе. И спички он покупал без конца. Но по коробку.

Как бы то ни было, вскоре Мишка с Катериной стали прогуливаться под руку. И когда пастух слышал «Фу ты, черт какой!» — так грозно смотрел на говорившего, что скоро говорить о нем как о черте стали только за его спиной:

— Фу ты, черт! Какой злющий стал!

Как пастух все провернул с Катериной, так и осталось загадкой. Занятия со мной он забросил. Правда, достал откуда-то гитару с кривым грифом, подарил мне и отправил в свободное плавание.

— Все. Вольный казак! — и, хлопнув дверью, побежал в магазин к Катерине.

Все шло к свадьбе. Даже тетя Таня-Галя в порыве благочестия, как она выражалась, не смогла отстоять свою дочь. Свадьбу назначили на осень. Катерина, чтобы узнать о будущем, напросилась в гости. Пришла она вечером к Мишке. Свет в доме не погасили, но часа через два она — красная, потная, злющая и, конечно, красивая — хлопнула дверью. И, как говорят, крикнула на всю улицу:

— Козел проклятый!

И, уже уходя, не удержалась и добавила:

— Черт!

Не знаю, то ли Мишка ей не угодил, то ли она ему не понравилась, но, не дождав-шись конца лета, пастух исчез неизвестно куда. Видно, недаром его звали чертом.

Много чего говорили. Одна только тетя Таня приписывала все благодати божьей, сошедшей на Екатерину. Впрочем, что она под этим подразумевала, известно не было...

О Мишке никто, кроме священника, не горевал. Без своего друга отец Евгений совсем запил, даже службы стал пропускать. Что касается меня, то я погрузил недельки две и был таков: молодость только вступала в свои права, и у нее были дела куда важней. Да и уехал я вскоре.

...А когда вернулся — не знал зачем. Искать уже было нечего. Поселок менялся, обрастал чем-то новым, какой-то другой жизнью, которую мне не хотелось принимать. «Все к лучшему, все к лучшему», — повторял я про себя, и это на время примиряло с действительностью.

Я пытался расспрашивать о Мишке, но о нем никто не только ничего не знал, но даже не вспоминал. Ни слуху ни духу от пастуха не осталось. Катерина вышла замуж за сына священника — единственного, который выжил, больного, вечно кашляющего, но приобретшего неведомо каким образом достаток, — и укатила в город.

Отец Евгений погряз в пьянстве. Ноги у него отнялись, и он лежит целыми днями на кровати и посылает свою супругу за водкой. А та на все махнула рукой. Иногда, в минуты просветления, батюшка силится что-то сказать, делая дрожащей рукой привычный жест крестного знамения. У него ничего не выходит, и он плачет и плачет — кажется, бесконечно. А потом кричит себе водки и снова впадает в пьяное забытье.

Священника нового не назначили, церковь растащили. И стоит она, кивает незнаемо чем: даже крест на куполе и тот ободрали.

Все то недолгое время, что я был в поселке, мне казалось, что стоит только чуть-чуть замедлить время, прибавить еще несколько дней, и пастух снова покажется на дороге. И я снова услышу, как кто-нибудь говорит:

— Фу ты, черт какой идет!

— Черт, — произношу я вслух. И так ласково и тепло звучит это слово в комнате, даже Христос в углу улыбается, ну и я, конечно.

Но Мишка так и не объявился. Дом его лет пять назад снесли, поставили забор, но дальше дело не пошло. Так и стоит заросший пустырь, огороженный досками. И когда я прохожу рядом, то вспоминаю далекое время и цыгана Мишку и надеюсь, что жизнь у него хоть как-нибудь да сложилась.

ЧЕРЕМШАНКА

1

В субботнее утро отец вернулся с рыбалки и пошел в гараж, старый, советский, выложенный красными, понабранными отовсюду кирпичами и покрытый крышей из шифера, который каждый год латали. Вдоль стены стоял ряд поленьев, и между ними то и дело попадались пачки от сигарет: то синяя «Балканская звезда», то красная «Прима», то белая, от папирос, «Беломорканал».

В гараже стоял мотоцикл, но отец редко пользовался им. Даже на далекий покос ездил на велосипеде — уезжал рано утром и к вечеру возвращался. А потом приезжал старый-старый ЗИЛ, ржавевший в иное время на соседней улице, и перед домом на поляне вырастали стога сена, на которые так хорошо было забираться и скатываться вниз — прямо в канаву — и опять, и опять, пока сено не утаскивали на сеновал.

Всего этого не было уже лет пять. Корову резали, и ежегодные телки и телята Гаврюши и Милки не бегали по двору, и не приходилось, сидя на крыльце, смотреть на них, хлопать в ладоши и смеяться. Но смерти этого мира я не ощутил. На сеновале еще оставались косы, и вилы, и даже дюжие охалки сена. Да и гараж стоял, крепился прошлым.

Отец выкатил мотоцикл из гаража и, увидев меня, махнул головой, мол, давай залазь — поехали. Я был рад этим скупым моментам радости без лишних разговоров, так же как и в прошлом мире, когда отец брал меня на руки и подбрасывал к потолку или крутил над собой. А я летал и смеялся, видел белый свет сверху, видел, как кошка Муська бежит вокруг, и поэтому смеялся еще громче.

— Куда это ты собрался? — спросила бабушка кого-то из нас.

— На Черемшанку съездим, посмотрим, — ответил отец.

Из ниоткуда появилась заспанная сестра и заверещала:

— Я тоже хочу, тоже хочу!

Отец, недолго думая, махнул головой, и после совершенно ненужных, с его точки зрения, приготовлений с нами оказались бутылка молока и пакет с блинами.

Мы с сестрой сидели в коляске. В шлеме было неудобно смотреть по сторонам — я все время бился головой о голову сестры и каждый раз смеялся при этом. Когда мы ехали по поселку, я еще вертел шеей, но в лесу бросил это дело и смотрел только на руки отца — как он поворачивал руль и спокойно выжимал газ.

Я не помню, как мы выехали из леса на дорогу, но ветер подул мне в лицо с такой силой, что я стал захлебываться воздухом. Отец разогнал мотоцикл, и мы переехали на скорости ручей — вода полетела на меня. Я до сих пор помню это — кристальные капли воды в желтом отсвете солнца. И пахнут они бензином.

— Все. Приехали. Вылезайте, — сказал отец.

Мы с сестрой вылезли из коляски. Отец докатил мотоцикл до ручья, где он принялся мыть «Урал», а мы пошли побродить.

— Далеко не ходите! — крикнул отец нам вдогонку.

Слева от нас текла небольшая река, в одном месте она резко сужалась и становилась ручьем, а потом снова рекой. А справа стоял остов дома, поросший травой. И колодец — черный и пустой. И ничего больше. Только лес со всех сторон.

Отец купался в реке, когда мы вернулись.

— Ой, щука укусила, ой, окунь, — выходя из реки, он подпрыгивал, брызгая в нас водой. И я смотрел на него — большого, сильного и молодого.

Я все смотрел на него, а мы уже ехали обратно, и позади оставался поросший травой дом и пустой колодец. И небо было беззаботно-облачным, и солнце светило легко и непринужденно, захочу — пойдет дождь, захочу — будет сухо. И казалось, что старый дом и колодец — все это временно, все это ненастоящее, что придут люди, починят дом, выроят новый колодец и заживут старой жизнью. Той, в которой будут и сенокосы, и колова, и старый ЗИЛ. И теленок, бегающий, стучащий копытами по асфальту двора.

2

— Пойдем на Черемшанку? — спросил меня отец.

— Зачем?

— Прогуляемся да веток на метелки наломаем.

— Ну пошли, — неуверенно протянул я.

— Ну все, седлай сапоги.

Бабушка охала да ахала, как бы я не застудил ноги.

— Да нормально, — только и говорил я, пока отец курил во дворе. Вернувшись, он вытащил из комода портянки и намотал их мне поверх носков.

— Учись, пока я жив. Ну-ка походи.

Я прошелся по кухне.

— Нормально?

— Да.

— Точно?

— Ну да.

— Ну пойдем тогда.

В конце октября в поселке хорошо. Дожди уже не идут, а снег еще не выпал. Стоит какое-то безвременье — не зима, не осень. Гулкий подмерзший тротуар стучит под ногами — живет своей жизнью и замолкает только во время порывов ветра. И главное — дышится легко. Воздух настолько хрупкий, что ломается, когда выпускаешь пар изо рта. А пар поднимается вверх и не тает, исчезая за гранью дыхания.

Знакомые уже не кричат через дорогу: «Здорово!», а спокойно поднимают руку как приветствие не нам, а осени: «Ну здравствуй, что ли». В лесу же совсем тихо, только сосны раскачиваются, потрескивая. А земля молчит.

Нам не о чем говорить с отцом, поэтому мы тоже молчим. Прошлое затемнилось, и мы не можем разговаривать и смеяться, как раньше. Мы миновали точки сближения и теперь уходим друг от друга все дальше и дальше. Как мне хотелось, чтобы отец на-

учил меня всему: столярничать, плотничать — мастер он на все руки. Но я боюсь ему сказать это, и он, наверное, тоже не может произнести: «Пойдем, рубанком работать научу» — и говорит только:

— Молоток подай.

Или:

— Вон гвозди лежат, принеси.

И заканчивает всегда:

— Да я сам справлюсь, иди.

Из леса мы ходим на проселок, вдоль которого тянутся поля.

— Вон коров тут пасли, я еще помню. Прибегал сюда.

Деревянные столбы прочно стоят в земле. Колючая проволока, кажется, намертво прицепилась к ним. Я всматриваюсь дальше, но ничего не вижу, кроме покрытых инеем полей, желтых, гнувшихся под ветром и плачущих без солнца.

На повороте встает Черемшанка, прозрачная, покрытая льдом река, и далекий остов дома с черным колодцем. Трава завяла, и дом совсем открылся. Я вижу обгоревшие бревна — черные, землю — черную и колодец — черный, с прозрачной водой, в которой плавают лягушка. И вдруг — оранжевые ставни. Но как неестественно смотрятся они на этом осеннем фоне, разломанные, выцветшие, облупившиеся.

Мы ходим вдоль русла реки, и дом то появляется, то исчезает из моего зрения. И я все время о нем думаю.

— Мелкий ты какой-то и хилый, — по-доброму говорит отец, когда я не могу наломать ивняка: вот смотри.

Он спокойно отламывает ветку одним движением руки.

— Учись, пока я жив.

Обратно мы возвращаемся по другой дороге.

— Не устал?

— Нет.

— Точно?

— Ну да.

Мы спускаемся в поселок, и мне становится грустно. Я оглядываюсь назад и вижу Черемшанку, которую вот-вот занесет снегом. И понимаю, что никто не придет туда и не поставит новый дом. Будет он стоять так же и догнывать на пару с колодцем, пока кто-нибудь ради потехи ли, а может, и ненароком не спалит дотла то, что еще называется жизнью, пусть и заброшенной.

3

Когда я вышел из дому на улицу, почувствовал: весна. Через несколько минут ходьбы воздух замерз. И тогда я осознал, что осень пришла бесповоротно. Как ее ни отгоняй, все равно наступит. Солнце отдалилось от меня — не грело, не светило, только слепило затвердевающий колкий воздух, который теперь не продавишь до весны.

Я вышел засветло, но в ноябре уже в пять темнеет. Мои часы показывали три, и время не двигалось. Впрочем, дороги совсем немного — три километра туда да три обратно. И вот я уже иду по ноябрьскому лесу.

Снег аккуратно хрустит под ногами, сухой, не преломляющийся в свете дня, да мне и этого хватает. Постепенно поселок исчезает среди деревьев. Иногда я останавливаюсь и слушаю свое дыхание, выпуская пар изо рта.

Лес весь изъезжен. Везде ямы, колеи: видно, лесовозы все едут и едут — то там вырубка, то здесь. Из-за этого я не всегда понимаю, куда идти. Но вот выхожу на грязную осеннюю дорогу. Справа — все те же столбы выгона в колючей проволоке, и, кажется, ни души. Только где-то изредка слышна бензопила, но точно не «Дружба» и ревет где-то лесовоз, но явно не ЗИЛ.

За поворотом я останавливаюсь: ищу глазами ветхий и старый дом. Но его нет, а я-то думал, он поприветствует меня, спасибо, мол, старика навестить пришел. Дальше по дороге лежит асфальт. И просека уводит его куда-то за те места, где мы с отцом ломали ветки на метлы. А по обе стороны от дороги — дома, кирпичные, разноцветные, и указатель, на который я не хочу смотреть. Слова начинают качаться во рту, я сплевываю их на грязную, не желающую замерзнуть дорогу.

Отцу я ничего не сказал, как пошел. Да и кажется мне это каким-то бессмысленным. Ведь он сам ту же память, что была у него, передал мне. И я сам стал с ней что-то делать. Иногда мне хочется обо всем ему рассказать: о том мире, который вышел за грань прошлого. Обнять, поцеловать хотя бы... Но когда я вижу размытые, усыпанные временем черты лица, мне не хочется его тревожить. Пусть все остается, как есть.

Дома нет. Колодца нет. И реки нет. Есть лишь дома, построенные на пепелище, в которых будут жить люди, ничего не знающие о прошлом. А я вот иду по дороге. И когда все уйдут, останусь только я. А после меня — никого.

На дороге появляется лесовоз. Я отхожу в сторону. Едет за моей спиной зеленый ЗИЛ. Хорошо, думаю. Около меня он останавливается.

— Подвезти?

— А ты куда?

— На сорок девятый, а потом через поселок.

Я запрыгиваю в кабину, и мы трясемся по ухабам и кочкам.

— Оттуда ты? — спрашивает меня шофер, показывая куда-то пальцем.

— Нет.

— А откуда? Грибник, что ли? — и звонко смеется своей шутке.

— Из поселка, — отвечаю я.

— А...

Мы едем, шофер все что-то рассказывает. Ни слова не доходит до меня. Он смеется, а я улыбаюсь в ответ и вспоминаю столбы с колючей проволокой — единственное, что осталось от прошлой, совсем другой жизни. И жаль мне их, жаль шофера, жаль его старую машину, и это ноябрьское темно-синее небо, и себя, потерявшего что-то, от чего осталось только четырнадцать деревянных столбов и триста метров ржавой проволоки.

СЕНОКОСЫ

1

Утром я их всех видел. Они уезжали косить. Думали, что сплю, но я не спал. Ворочался с боку на бок с закрытыми глазами, а когда открывал их, было совсем светло. Меня опять не взяли с собой.

Все дни сенокоса я ходил как неприкаянный из угла в угол по дому и двору. Весь день лазил на сеновал и высматривал оттуда машину с сеном. Завидев что-нибудь похожее, я съезжал по лестнице и выбегал на улицу. Не они ли? Не едут ли? Хотя знал, что приеду только вечером.

Иногда я забегал в дом и смотрел на часы: время там двоилось и не определялось так, как я хотел. Оно никак не определялось: я не знал времени.

Когда кошка начинала крутиться у моих ног, я прекращал свои бессмысленные занятия. Она служила мне вместо часов. Если она лезла ласкаться, значит, поела. Поэтому я садился за стол и ждал обеда. Иногда ждать приходилось долго.

Я сидел за столом, а бабушка вносила еду в комнату и говорила:

— Садись кушать, потом набегаешься.

Я еще раз садился и, наевшись, вставал, неизменно добавляя от всей души:

— Спасибо!

На это спасибо я очень надеялся. Но сколько бы я ни говорил, время не шло быстрее, с покоса не возвращались, а утром с собой не брали.

Когда в церкви отзванивали колокола, я шел ужинать и снова садился за стол.

Возвращались с пастбища коровы. С ними, а особенно с нашей Мартой, я был не в ладу. Когда она не была на выгоне, то стояла и жевала сено, высунув голову за ограду конюшни, хотя коней я там никогда не видел. Я много раз пытался подойти к корове и погладить ее, но она каждый раз норовила задеть меня рогами — лениво и даже слегка сентиментально, вроде уйди, проклятый, надоел.

Каждый год Марта приносила то теленка, то телку. Дети ее живо откликались на ласку и всякое проявление к ним внимания, слюнявя мне штаны, лицо и футболку. Потом они куда-то исчезали. Куда, я не догадывался, но мяса нам хватало.

Я уже умел завязывать шнурки, читать не по слогам, тараторить без умолку, жевать жвачку, как взрослый, хотя бабушка говорила, что как конь, и ничего не забывать. Скоро меня должны были отдать в школу, в которую я по странной случайности стремился всей душой. Но на покос все равно не брали.

— Подрастешь, будешь сено грести, а пока не вырос, — говорила мама.

У мамы были часы со стрелками, у отца с цифрами, а у бабушки на цепочке. А еще в каждой комнате висели на стене часы. И поняв, что быть достаточно взрослым — это уметь определять по ним время, я решил им стать, чтобы меня взяли на покос.

Целыми днями я крутился около циферблатов разного пошива. Водил стрелки туда-сюда, сгибал их, переписывал цифры, вынимал батарейки — ничего не получалось. Так мне и приходилось жить посредством кошки и колоколов.

Я всегда вовремя приходил ко двору Ивана. Аккурат тогда, когда приезжала машина с сеном. Его долго не сбрасывали, и грузовик стоял около дома — старый-престарый ЗИЛ.

— Со времен царя Гороха, — говорил Иван.

— А сейчас какой царь? — спрашивал я.

— Пьющий, — отвечал он.

— А времена?

— Ненадежные.

— А ЗИЛ?

— Старый-престарый. Чего пристал? Иди сено греби! — отрывисто говорил он.

— Я подрасту, буду сено грести, а пока не вырос.

— Кто говорит?

— Мама.

— Щас ремень достану и посвящу во взрослые.

— А так можно?

— Можно, — задумчиво отвечал Иван. — Только надо, чтобы мамка не видела... чего пристал? Иди давай!

Когда сено выбрасывали на поляну перед домом, со всех сторон сбегались соседские ребята. Иван и многочисленные дяди и тети тоже были на месте. Только отца с матерью все не было.

Они появлялись на дороге: отец вел велосипед за руль, а мама шла рядом с ним, держа в руках что-то.

— Еще сено. Ура! — взалел, как дурной, кричал я. А это были полевые цветы.

— Такой молодой, а уже того. Эх ты, паря, — смеясь, трепал меня по затылку Иван.

Родители шли по дороге не торопясь, улыбались друг другу и о чем-то разговаривали. Шли они так, что, кажется, не замечали ничего вокруг. А мы все смотрели на них.

ЗИЛ уезжал. Копны сена лежали на поляне и никак не хотели исчезать. Казалось, можно бесконечно прыгать по селу, зарываться внутрь, скатываться с него. Но охапки исчезали одна за одной и водворялись на сеновал.

К темноте ребята все разбегались, взрослые уходили в дом. А Иван сидит себе на скамейке и молча курит, глядя на стоящие у ворот вилы. И я, с никому не нужным весельем лазаю все еще по сеновалу, забираюсь на сено и уже совсем нерадостно качусь вниз...

2

Самым лучшим косарем в поселке был Иван. Сам он хозяйства не держал, но помогал за бутылку всем, кто ни попросит. Жара стоит — он косит, дождь идет — а он машет и машет косой.

Когда проходишь около Иванова дома, только и слышно: вжих! вжих! вжих! — точит косу Иван. И все ему, казалось, кроме покосов, было безразлично. Знай себе работай косой да работай, хотя бы травы и не было.

Иван жил у горы, недалеко от нас. С гор спускался лес, и, спрятавшись в деревьях, можно было видеть, как Иван ходит по заросшему огороду туда-сюда с косой. То здесь ее попробует, то там. Потом отложит в сторону и снова по огороду — из края в край. Или сядет косу точить, а потом снова примется за ходьбу.

Мне хотелось научиться косить, как Иван — ловко и быстро, чуть ли не под корень срезая траву, или сидеть и точить, точить лезвие косы и прохаживаться, ну, пусть не по огороду, а хотя бы по двору.

Часто я ходил смотреть за работой Ивана и все хотел подойти к нему, попросить научить меня делу. Но, видимо, у него были еще и другие заботы, и пока я набирался смелости, Иван исчез.

Через несколько лет он вернулся. Приехал на автобусе с большой сумкой, за месяц справил подветшавший дом и стал жить так же, как раньше. Только я заметил, что припадает он на одну ногу. Отец сказал, что Иван хромал всегда. Приближался сенокос.

— Папа, научи меня косить, — приставал я к отцу каждый день.

— Мал еще, — только и отвечал он.

Один раз я заплакал, стал кричать и бить кулаками в стол:

— Научи! Научи! Научи!

Отец вышел в другую комнату и вернулся, неся в руке солдатский ремень с бляхой.

Я вырывался, плакал и слышал, как мама стояла, поникшая, в дверях и слабо говорила:

— Сережа, не надо. Сережа.

Несколько дней после этого я старался не показываться отцу на глаза, разве что за столом. Но все-таки наткнулся на него в сенях. Он потрепал меня по голове, улыбнулся, и все вернулось обратно.

Потом, подростком, я часто разжигал в себе эту рану, мнимо накручивая себя, только бы вызвать раздражение против отца. И сам знал это, но продолжал.

А когда вырос, стал понимать его. Вряд ли он действительно не хотел научить меня косить, передать это искусство от отца к сыну, как повелось. Наверное, уже тогда чувствовал, что не за горами распад старого мира, что недолго этому миру жить. А там, в другой жизни, на кой все эти косы и вилы? Только мучить себя потом.

3

Они снова стали с утра уезжать: подошли сенокосы. Уезжал и Иван.

Вечером все возвращались. И в ожидании, пока копны сена вырастут у нас под окнами, я бегал по поселку к своим первым друзьям: к ним сено уже привезли, и мы играли, возились в нем и, конечно, катались, как с горы — в траву, в канаву, в лужу.

Отец с матерью в эти дни уходили ночевать на сеновал. Я тоже хотел с ними, но бабушка не пускала меня. Потом я решал, что полночи буду плакать, но почему-то засыпал.

В сентябре, после сенокоса, Иван снова исчез.

— А куда делся дядя Иван? — спрашивал я у отца.

— Душу ему война искалечила, — отвечал он и добавлял еще что-то, какие-то слова, случайные, не подвластные ни мне, ни ему. Но запомнил я только слова про душу, а еще бабушку, качающую головой, и безответные глаза мамы.

Иван вернулся ровно к сенокосу. Дождливое небо к его приезду просветлело. Почерневший дом обсох. Установилась такая сушь, что я несколько раз в день бегал с пятилитровыми канистрами за водой на колонку — не оттого, что хотелось пить, а потому, что жарко и так надо.

Поселок почти вымирал на время сенокосов, только старики да старухи сидели по домам за закрытыми ставнями.

Я рисовал на асфальте мелом какую-то ерунду и не заметил, как ко мне подошел человек.

— Что рисуешь? — спросил он.

Я узнал Ивана, но виду не подал. Казалось, так и надо было.

— Самоходку, — ответил я первое подвернувшее под язык слово.

— Самоходка не такая.

— А какая?

— Давай покажу.

Иван взял мел и нарисовал что-то на асфальте.

— Вот так, — закончил он.

— А-а-а... — только и протянул воздух я.

— Ты ж Сережкин сын? — спросил Иван.

К тому времени я знал, что я Сережкин сын, поэтому без труда ответил:

— Угу.

— Ты же знаешь, что я Иван?

Я кивнул головой, да с таким видом, который говорил, будто это и коням известно.

— Бабушка дома?

— Угу.

— Не говори никому, что я здесь пока. Лады?

— Лады, — бойко ответил я и протянул Ивану руку.

— Я потом расскажу, — ответил он, улыбаясь и с чувством трясая мою руку. — Ну бай. Рисуй давай, Левитан!

— А что такое Левитан?

— Это значит хорошо.

И я понял, что мне надо рисовать хорошо.

Иван пошел к себе в дом. Стало слышно, как он точит косу, но каким-то неестественным, приглушенным, стыдливым был этот звук.

Я сидел на скамейке у дома, качал ногами, а бабушка смотрела в окно и щелкала семечки. К дому Ивана подъехала милицейская машина. Милиционеры вышли, постучали в окно, посмотрели на нас и уже развернулись, чтобы уйти, как дверь Иванова дома отворилась. Через некоторое время его в крови, в разорванной рубахе вывели, посадили в машину и куда-то увезли.

— Господи Иисусе, — бабушка крестилась и все время поминала раба Божьего Ивана. Мне она ничего не сказала.

Вечером бабушка сказала:

— Опять, поди, ограбил. Или убил кого.

— Душу ему война искалечила, что тут говорить, — ответил отец.

— Это он который раз...

— Не помню я.

— Должно бы уже до конца. А то сбежал. Теперь надолго.

— Теперь надолго...

На покосе время остановилось. Трава в еланиях на метр вымахала. До следующего взмаха косой здесь тишина. Идешь по этой глуши в жаркий день, остановишься и сразу услышишь: нет ничего, кроме тишины деревьев, слепой тишины недалекого ручья и жаркого, стоячего воздуха, который тоже молчит. И себя не слышишь. А смотришь в небо — понимаешь, что ничего в мире, ничего, кроме этого бескрайнего, непостижимого, непередаваемого.

Идешь, и летит из дворов ни с чем не сравнимый запах свежего сена. Пропитываешься, пропотеваешь им за лето, ползая по сеновалу. А потом просыпаешься ночью. И все видишь в ночи, когда льет косой дождь, барабанит в ведра, хлещет грубый асфальт двора, стучит по шиферу крыши. И слышишь запах свежескошенной травы — прелой, летней, зеленой травы.

И во всем этом стоит вечное, неподдельное лето — ни забот, ни тревог. И мать с отцом так робко держатся за руки, когда мы идем домой. А вдалеке еще слышится голос дяди Ивана — лежит пьяный он на сеновале и поет. И я настолько мал, что не могу услышать деревья и слушаю человеческий голос. А он плывет, плывет и тонет где-то в небе — звездном до капли, которые падают, падают, но их я тоже не слышу.

А было это по осени. Сенокос так затянулся, что в августе мы и не убрали сено. В сентябре оно размокло. А в октябре пожелтела, посохла трава...